

Константин Паустовский

Странствия

Ветер скорости

Из путевого дневника

Под Москвой леса были насквозь просвечены золотом. Особенно много этого лиственного шумного золота скопилось в оврагах, куда не проникал ветер. А на холмах ветер начисто срывал сухую листву, кружил ее и уносил вдаль. И там, в этой дали, в холодном блеске октябрьского солнца листья временами летели по ветру так густо, что воздух казался от них желтоватым.

В такой день начался наш путь из Москвы на запад.

Путь шел мимо Бородинского поля. Над ним курился туман. Он был похож на дым сраженья.

Сухие взгорья Бородина расстилались вокруг. К ним были обращены мысли Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого и многих тысяч русских людей. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина».

На этих полях Пьер Безухов мог бы встретиться с интендантом наполеоновской армии Стендалем. Я написал слово «мог» потому, что сила

толстовского гения сделала Безухова существующим. Нельзя даже представить себе, что не было на свете этого добродушного увальня.

Ветер скорости гудел в крыльях «победы». Под этот гул хорошо было думать о разных разностях, хотя бы об этой невозможной встрече Безухова со Стендалем.

О чем они могли говорить? Может быть, о том, что рядом со старой кровавой историей, с ее войнами и бессмыслицей живет простая повесть любящих сердец, где-то близко бьется милое сердце Наташи Ростовой. И ради этого сердца стоит броситься очертя голову в любую опасность.

Мало ли мыслей приходит в голову под гул дорожного ветра! А здесь ему было где разгуляться — на автостраде Москва — Минск, серой бетонной ленте, туго натянутой от края до края земли.

Дорога эта проходит в стороне от городов и деревень. Города возникают и проносятся по ее сторонам, как виденья.

Таким виденьем прошла на вечеряющих холмах героическая Вязьма. И снова помчались километры красной по осени болотной травы, березняка и равномерно сменяющих друг друга перелесков.

Днепр под Смоленском блеснул узкой извилиной. Берега его дымились паром.

Около Днепра мы остановили машину. Пастух

гнал навстречу пестрое стадо. Вопреки тысячелетней привычке, он не кричал на коров осипшим, отчаянным голосом: «Куды, дьяволы!» Он заменил этот возглас более современным: «Алло, красавицы! Алло!» И коровы, проходя мимо машин, ласково поглядывали на нас, помахивали хвостами и, казалось, хотели сказать: «Вот видите, какой у пас чудный пастух».

К вечеру показался Смоленск — многострадальный город, раскинутый на кручах над Днепром.

Не прошло и десяти лет после войны, а понятие «разрушенный город» почти исчезло. Разрушенных городов больше нет. Нет и разрушенного Смоленска. Новый город поднялся над развалинами. Уцелевшие дома вошли в ансамбль новых зданий. Только смоленские пращуры — крепостные валы, собор и кремлевские стены — хранят в своем каменном молчании память о прошлом.

Всю ночь за окнами маленькой смоленской гостиницы шумел дождь. На столе в номере стоял букет гладиолусов удивительно нежной расцветки.

Ничто в этой гостинице не напоминало пресловутые «номера для приезжающих» с их застарелой вонью дешевого одеколона и хлора, сквозняками и скрипучими лестницами.

Было очень чисто, тихо, спокойно. На стене

висела литография «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Эта литография встречалась нам на всем пути. И не только она одна, но еще «Утро в сосновом лесу» Шишкина и «Девятый вал» Айвазовского. Почти не было такой гостиницы, столовой или кафе на протяжении четырех тысяч километров дороги, где бы не висели эти литографии. Всюду нас радостно приветствовал схватившийся за живот от смеха сивоусый запорожец — в Витебске и Пскове, в Нарве и Каунасе. Он просто преследовал нас своим зычным безмолвным хохотом.

В конце концов нам стало не по себе. И потому мы искренне обрадовались, когда в столовой в Оночке впервые увидели на стенах превосходные пейзажи местного художника. Имя его нам так и не удалось узнать.

Утром серый дождь все еще висел над Смоленском. Я вышел в город. Среди земляных валов и старых ив тускло поблескивал большой пруд. С деревьев слетали сизые листья и ложились на воду. Она даже не вздрагивала от их прикосновенья.

Посиневший от холода вихрастый мальчик сидел на корточках на берегу пруда и удил рыбу. Я почувствовал невольное уважение к этому мальчику за его жестокую страсть и терпение.

Город в этот ранний час был почти пуст,

безмолвен. Я подумал о том, сколько бурь пронеслось над ним и сколько одаренных русских людей выросло здесь, под стенами Смоленского кремля, на горбатых улочках, заросших травой.

Как будто нарочно, чтобы подтвердить эти мысли, из отдаленного громкоговорителя слышались звуки рояля и мужской голос запел:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей...

Томительные эти слова и музыка Глинки — уроженца Смоленска — наполнили утренний холодок печальной поэзией. Я вспомнил стихи другого смоленского уроженца, Твардовского: «За далью даль». Места поэзии! Здесь она рождалась — на суглинистых дорогах, в сырых лесах Смоленщины.

Вихрастый мальчишка-рыболов напомнил мне замечательного смоленского человека, Василия Тихоновича Бобрышева. Он был редактором журнала «Наши достижения». Его многие знали — худого, со смеющимися глазами и светлой прядью, падавшей на лоб. Было в нем что-то от старых русских мастеров, от лесковского Левши. О таких людях, как Бобрышев, говорят: «золотые руки».

Он прекрасно составлял журнал. Он собрал вокруг него всю даровитую литературную

молодежь. Как все талантливые люди, Бобрышев любил все делать сам — чинить всякие приборы, часы, особенно старые музыкальные ящики с их перезвоном простых мелодий («В милые годы ты возвратишься...»), выращивать у себя в комнате на улице Горького диковинные цветы и собирать грибы в подмосковных лесах.

В свободное время он вытачивал из дерева необыкновенно тонкие вещи. Однажды он вырезал перочинным ножом из цельного куска липы сомкнутую цепь.

Он погиб в народном ополчении под родным Смоленском.

Как за далью открывается новая даль, так смоленская земля непрерывно дарит нам незаурядные русские характеры — от Пржевальского и Глинки до Твардовского и от писателя и охотника Соколова-Микитова до безусловно существующего Василия Теркина — тоже, судя по всем ухваткам, уроженца Смоленщины.

Дорога на Витебск резко сворачивает около Орши на север и уходит в песчаные холмы и болота. Шоссе проложено по гатям, залитым асфальтом. От тяжелого хода машин шоссе чуть прогибается и покачивается, как на тугих рессорах.

Исчезли большие смоленские села. Их сменили короткие белорусские деревни.

Мальчишки уже не швыряли под колеса машины пыльные кепки, как это было на буйной Смоленщине. И косматые псы уже не мчались, сатанея от хрипа, вслед за проклятой машиной.

В деревнях было пусто и тихо, — повсюду копали картошку.

Мы остановились в лесной деревушке и зашли в хату попить молока. На пороге сидел на огромной железной цепи заплаканный щенок. Увидев нас, он полез спастись в сени, повизгивая от страха и громыхая цепью.

В хате висели на стенах колхозные плакаты. В углу стояла почерневшая прялка.

Я тронул колесо прялки. Оно повернулось и жалобно заскрипело. — И хозяйка-старуха пожаловалась, что вот уже много годов, как никто не ткёт полотна, а прялками, как «ляльками», играют дети. Домотканое полотно было хотя и узкое и суровое, но очень прочное.

Сколько сказок и песен родилось под шум прялки и свист метели за окнами, сколько открылось чистейшей народной поэзии. Мы забываем об этом. Забываем, что и пушкинские стихи «Буря мглою небо кроет» тоже были вызваны к жизни вечерами за прялкой:

Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,

Или дремлешь под жужжанье Своего веретена?

Давно, еще в детстве, мне почему-то очень хотелось попасть в Витебск. Я знал, что в этом городе останавливался Наполеон и что в маленьком местечке под Витебском жил художник Шагал. Во время моей юности этот художник прогремел по всей Европе своими картинами из жизни давно уже исчезнувшего затхлого «гетто». Об этом художнике много говорили и спорили взрослые.

Мне нравилась его картина «Парикмахерская в местечке». На картине были изображены кривая вывеска с пышно намыленным жгучим брюнетом во фраке, чахлый фикус и пятнистое, как ягуар, трюмо, похожее на окно в потусторонний мир, — так в нем все было искажено плесенью, разъевшей зеркальную амальгаму.

Так случилось, что за всю свою жизнь я не встретил ни одного человека, который был бы родом из Витебска. Поэтому некая дымка таинственности окутывала в моих глазах этот город.

Редко бывает, что наше представление о чем-нибудь совпадает с действительностью. Но с Витебском случилось именно так.

Мы приехали в Витебск в сумерки. Закат догорал за Двиной. В позднем его огне холмистый

город показался очень живописным.

В памяти остались овраги среди города, каменные мосты над ними, старинные здания бывших католических или униатских семинарий, колоннады новых домов и ослепительные огни. Нигде я не видел таких ярких и напряженных электрических огней, как в Витебске.

Но особенно был хорош Витебск вечерним оживлением своих узких и уютных улиц. В городе соединились черты запада и юга.

В Витебске мы впервые вплотную столкнулись с шоферами. Началось с того, что наша старая «победа» с утра не заводилась. Немедленно вокруг машины собрались шоферы со всех стоявших на улице машин, и начался митинг.

У каждого шофера была своя теория насчет того, почему не заводится машина. Одни утверждали, что «садится аккумулятор», другие — что «отказало реле», третьи уверяли, что «ток замыкает на массу», четвертые доказывали, что наверняка засорился карбюратор, пятые сомневались в исправности трамблера, шестые, молча, но презрительно улыбаясь, чистили от нагара свечи, седьмые ссылались на мистические причины («Она постоит и заведется. Это она свой характер показывает»), восьмые вообще что-то сосредоточенно щупали и крутили в моторе, пока, наконец, не пришел старый седой шофер и не

сказал: «Даже ребенку ясно, что эту машину надо заводить „на прямую“».

Но каждый шофер, ковыряясь в моторе, все же не преминул сказать, что, откровенно говоря, лучшей машины, чем «победа», нету на свете. И это нас утешало.

Потом мы сообща толкали машину по главной улице Витебска под свист мальчишек. Но и это не помогло — машина не заводилась. Тогда шоферы остановили проходящий грузовик, он взял нашу «победу» на буксир и начал неистово гонять вдоль одного и того же квартала. Тогда машина наконец завелась, «изрыгая (как пишут авторы научно-популярных романов) клубы белого дыма».

Нам надо было ехать, мы торопились, но шоферы не отпустили нас, пока не протерли до блеска машину и не надавали нам десятки советов.

В дороге было еще много встреч с шоферами и всяких мелких происшествий с машиной. Сейчас мне уже начинает казаться, что все без исключения шоферы северо-запада участвовали в починке нашей машины. При этом выяснилась одна из самых хороших черт шоферской профессии — любовь к автомобилю, как к живому существу. Каждый шофер находил по отношению к своей машине много ласковых и снисходительных слов. Были всякие машины: и «терпеливые до черта», и «послушные», и «обидчивые», и «работяги», и

«мученицы», и даже «не машины, а просто малые дети».

К северу от Витебска начинается обширный край лесов и озер.

Я не подозревал, что в Средней России есть места такой девственной красоты и такого живописного разнообразия. Бесчисленные и синие до черноты озера, каменные «гривы», высокие холмы, плавно поднимающие к небу шатровые вершины елей, валуны на полянах, пенистые холодные реки, их шум и плеск, резкий воздух с запахом клюквы и хвои, стеклянное треньканье и пересуды синиц, маленькие деревни-погосты с милыми именами — «Соловьи», «Звоны», «Бесенята», сиянье протяжной зари над болотами и звезды в блекнущем и как бы навсегда замолкшем небе — все это казалось нам необыкновенным, будто мы заблудились в старинной сказке.

По сторонам асфальтовой дороги, то взлетавшей по просекам ввысь, то стремительно опускавшейся в овраги, было много братских могил, особенно около Невеля. Здесь шли тяжелые бои.

Могилы были завалены грудями сухой хвои и шишек. Сквозь хвою прорастали белые сухие гвоздики, Они еще не совсем увяли и слабо пахли.

И невольно думалось, что солдаты, погибшие за эти поля и леса, за бревенчатые деревни и

говорливые реки, лежат здесь, в зернистом песке, рядом с Пушкиным— нашей гордостью, нашим счастьем и любовью. До Пушкинских гор и Михайловского отсюда было уже недалеко.

В селе Пустошка мы остановились на бугре над серым озером, уходившим извилистой полосой в туман. Надо было заправиться бензином. Разговорились с двумя женщинами, спокойными, сероглазыми, чернобровыми. Должно быть, это были сестры. Они удивились, что машина пришла из Москвы («Ну и даль-то кака-ая!»), и пожалели нас («Ведь это сколько же приходится ехать, мучиться в машине!»).

— Красивые у вас места, — сказал я женщинам.

— Да, здесь хорошо, — ответила женщина постарше. — Только наша Пустошка и в сравнение не идет с Алолью. Вот там прелесть! Как доедете до Алоли, непременно остановитесь и поглядите.

Место с таким странным названием — Алоль — появилось внезапно. Машина пронеслась, чуть накренившись, по крутому повороту у самого края озера, и казалось, что она непременно зачерпнет темной озерной воды.

Озеро подымалось к горизонту. Оно стояло как бы чуть набок, и в нем мимолетно отразилось множество багровой листвы, желтые стены камышей и гаснущий огонь заката. Круги от

рыбьих всплесков превратили эти отражения в путаницу всех мыслимых красок северной осени.

Все это сверкнуло и ушло, чтобы снова начали открываться одна за другой суровые колоннады корабельных лесов с их вечеряющей далью.

Над Опочкой дул сумрачный, порывистый ветер. Низкие тучи проносились, клубясь, над черепичными крышами. В забрызганные известкой окна гостиницы били капли дождя.

В темной прихожей гостиницы сидел на деревянном диване худой низенький старик в мятой шляпе. Он курил самодельные папиросы и читал книгу. Под потолком горела электрическая лампочка, тоже забрызганная известкой.

В гостинице только что окончили ремонт. Пахло мелом и вымытыми полами. Трещали, разгораясь, печи.

Хозяйка гостиницы со звучной фамилией Шаляпина рассказывала мне историю своей фамилии. У ее мужа, рядового сельского работника, был мощный бас. За это его прозвали Шаляпиным. Это прозвище так привилось к нему, что при выдаче паспорта милиционер ошибся и вписал в паспорт вместо фамилии прозвище, а муж хозяйки гостиницы промолчал, — фамилия Шаляпин нравилась ему больше, чем его настоящая.

Старик в мятой шляпе оторвался от книги и

сказал:

— Я слышал Шаляпина. Неоднократно. Я окончил Московскую консерваторию. По классу композиции.

Старик сиял шляпу и неожиданно запел дребезжащим, но приятным баритоном, явно подражая интонациям Шаляпина, шубертовского «Двойника».

Хозяйка гостиницы нахмурилась, но, посмотрев на меня, снисходительно усмехнулась, — ничего, мол, не поделаешь с этим чудачком-композитором.

— Служители искусства, — сказала хозяйка, — очень какие-то вольные и всегда нарушают правила внутреннего распорядка. Просто кошмар с ними! Администрации приходится смотреть на это с поблажкой.

Зачем ты повторяешь вновь,
Что пережил я здесь недавно, —
Любовь мою,
Страдания мои! —

пел композитор, сжав сухие руки и вытянув их перед собой.

Ночью над Опочкой буйствовал ветер. Дуло в окно, скрипели от сквозняков двери. Плотная тьма лежала над землей. Ее не могли отодвинуть за

город даже яркие электрические фонари.

Я проснулся, прислушался к шуму непогоды, представил себе эту ночь над окрестными болотами, ощутил огромный неуют этой осени, тьмы и подумал о композиторе: как тяжело, должно быть, одинокому человеку в такую ночь.

Часы пробили шесть. За дверью кто-то прошел, потом застучал медный стержень рукомошника в коридоре и знакомый голос композитора запел вполголоса:

Пусть плачет и стонет осенняя выюга

И волны потока угрюмо шумят...

И я понял, что никакие осенние ночи и никакое кажущееся одиночество не смутят этого чистого сердцем человека.

Утром мы пошли на базар и впервые рассмотрели как следует просторный и тихий городок Опочку.

Два огромных здания времен Александра Первого стояли по сторонам мощеной площади. На крепостном валу ронял последние листья городской сад. Внизу шумела, пенясь и вытягивая в струны подводную траву, река Великая.

Через Великую был перекинут цепной мост. За мостом в лицо подуло сладковатым запахом антоновки и сосновой щепы.

Дождь прошел. Облака поднялись и поредели. Вялый солнечный свет блестел в лужах. И сладковатый и прохладный этот запах, казалось, исходил от пасмурного утра, от окружавших Опочку лесов и пустошей.

Базарные рундуки были завалены антоновкой. Яблоки были как на подбор — крупные, покрытые на выпуклостях желтизной, похожей на старый воск. Рядом с яблоками лежали горы свежего и чистого товара, который зовут «щепным», — деревянных некрашенных ложек, деревянных лопат, бабеек, грабель и плетенных из лыка лукошек. От этого товара пахло корой, подмерзшим листом, так же как и от торговавших им обветренных колхозников.

По пути в Псков начали попадаться около шоссе желтые приземистые дома — почтовые станции пушкинских времен.

Перед одной из таких станций стоял на постаменте бюст Пушкина. Мы почему-то решили, что именно здесь и произошли те горестные события, какие Пушкин описал в «Станционном смотрителе».

У поворота на Пушкинские Горы выстроились вереницей около чайной высокие самоходные машины — льняные комбайны. Псковский край издревле был льняным. Весной, когда лен зацветает, вся Псковская область кажется с

самолета залитой голубой водой.

А сейчас, осенью, земля была цвета обожженной глины. Тяжелая мгла на горизонте грозила снегом.; Казалось, он вот-вот беззвучно полетит над скошенными полями и прикроет их сухой пеленой.

Чем ближе мы подъезжали к Пушкинским Горам, тем больше волновались, будто нам предстояло встретиться с живым поэтом.

Впереди появились две легкие колонны. Дорога проходила между ними. На колоннах были укреплены деревянные лиры. Отсюда, от этих колонн, начинался Пушкинский заповедник.

Давно уже отзвенели лиры, их нет даже в музеях, но они милы нам потому, что о них упоминал Пушкин. «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит», «Державин и Петров героям песнь бряцали струнами громкозвучных лир».

На холмистой гряде показался Святогорский монастырь. Под его стенами похоронен Пушкин.

Мы вглядывались в монастырские здания, серевшие вдалеке. Неужели через несколько минут мы будем стоять около могилы поэта?

Луч солнца прорвался сквозь тучи и озарил землю. И она вдруг запестрела скрытыми до тех пор красками последних осенних дней — коричневого бургяна, красного конского щавеля,

желтых, как лежалая пряжа, волокон репейника.

Но нам так и не удалось попасть на могилу Пушкина. Сонная служащая в гостинице Пушкинского заповедника сказала нам, что «могила закрыта на ремонт». Услышав эти казенные слова: «закрыта на ремонт», сказанные о могиле Пушкина, мы возмутились и хотели было наговорить сонной девице много горьких слов, но поняли, что это бесполезно.

Огорченные, мы поехали в Михайловское, и оно вознаградило нас за неудачу в Пушкинских Горах.

Там нас встретил беззвучный серый день, весь в вялом золоте и запахе сырой земли. Он как бы с раннего утра еще дремал, этот пушкинский осенний денек.

Михайловский парк отряхал последние листы, но на клумбах перед домом-музеем доцветали астры. И так же трогателен, как всегда, был домик няни, восстановленный нашими войсками после изгнания из Михайловского фашистов. Так же трогательны были его низенькие потолки и деревянные колонки на крылечке.

Неясный туман лежал, отсвечивая легким серебром, между вековыми елями главного въезда (большую часть этих елей срубили немцы), над черными прудами, над липами в аллее Анны Керн и над свинцовой водой двух озер — Маленца и

Петровского. В тумане едва угадывался песчаный холм, а за ним — Тригорское.

«Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных...»

В парк пришли цыгане. Их табор мы видели около Пушкинских Гор.

Цыгане подошли к домику няни, о чем-то тихо поговорили между собой, потом ударили в ладоши, и цыганки вдруг начали плясать. Разноцветные шали и юбки разлетелись, будто ветер закружил охапки красных, желтых, лиловых, белых и синих цветов.

Эта безмолвная пляска цыганок в совершенно безлюдном парке около дома Пушкина, да еще поздней осенью, когда кочевая жизнь должна давно окончиться, была неожиданна и удивительна. Казалось, что цыганки плясали перед самим Пушкиным и только для него одного.

Цыганки перестали плясать и присели на крылечке, обмахивая разгоряченные лица платками. В наступившей тишине было слышно только позвякиванье монист и стук еловых шишек, падавших на землю.

Над Псковом гремела поздняя осенняя гроза.

Молнии перебегали по черным садам и белым соборам. Суровые эти соборы были недавно восстановлены после войны. Вспышки молний отражались в меловых лужах около соборных стен.

Наутро, когда мы выехали из Пскова в Лугу, в небе снова начали накапливаться тучи.

Меня, конечно, могут упрекнуть в пристрастии к описанию гроз и других небесных явлений. Но эту грозу под Псковом я, очевидно, буду помнить долго и потому не могу промолчать о ней.

Это была стремительная гроза в самый разгар золотой осени, в ту пору года, когда гроз почти не бывает.

В этом была ее мощь — в невиданном пожаре солнечного света, бившего в осеннюю заржавленную землю через прорывы бешеных туч.

Взрывы солнечного огня, его косые лучи проносились и тотчас гасли в угрюмой дали. Там узкими домоткаными холстами уже лились на леса и пустоши короткие ливни.

Каждый взмах солнца выхватывал из сумрака то одну, то другую отлитую из чистейшей меди березу.

Березы вспыхивали, пламенели, дрожали, как исполинские факелы, зажженные по сторонам дороги, и мгновенно гасли за серой стеной дождя.

Машина рвалась через эти полосы дождя, чтобы снова вынестись в разноцветный пожар мокрой листвы и промчаться сквозь него до новой встречи с широкошумным пенистым дождем.

Свет, золото, багрянец, тьма, пурпур и снова

— быстрый свет! Синий блеск молний, длинные перекаты грома и вдруг вдали, в путанице поваленных ветром берез, — рыжая огненная лисица с поджатой лапой и настороженными ушами.

Удары грома совпадали с переменами света. Казалось, что гром оркестровал перед нами эту ошеломляющую грозу.

— Смотрите! Вот здорово! — вскрикивал шофер, и останавливал машину. А это что-нибудь да значит, когда шофер забывает о сцеплении и стартере и протирает смотровое стекло, чтобы не пропустить ни одной перемены в зрелище октябрьской грозы.

Только под Лугой — уютным городком, очень чистым, очень домовито-архитектурным — гроза прошла.

Несмотря на наше преклонение перед Пушкиным, мы все же решили, что он был несправедлив к Луге, когда написал о ней:

Есть в России город Луга
Петербургского округа:
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.

За Сиверской в мокром тумане, наползавшем с низин, в радужном сиянии фонарей пронеслась Гатчина— дворец, ограды, пруды, — и с Пулковских высот открылись, наконец, от края до края ненастного горизонта несметные огни Ленинграда.

Сколько раз ни приезжаешь в Ленинград, всегда волнуешься, как перед свиданием с любимым человеком, которого не видел много лет.

Узнает ли он тебя? Не скажет ли, что ты растерял за эти годы веселье и доброжелательность к людям? Примет ли он тебя с прежней простотой? Или будет молчать, сдерживая зевоту, как всегда бывает, когда умирают старые связи?

Но каждый раз этот величественный город встречает тебя, как друга.

Даже кажется, что он сетует, что тебя так долго не было. Он как бы спрашивает: где же ты был в белые ночи, когда отражения золоченых шпилей струились в невской воде? Где ты был в хрустящем сентябре, когда воздух пригородных садов заполнил до краев весь город и остановился у берега Финского залива, как бы боясь двинуться дальше в северную даль?

Где ты был в зимние дни, когда торжественные здания, колоннады и арки покрывал иней и казалось, что неведомый мастер посеребрил их за одну только ночь?

Почему так долго ждали тебя в гулких залах Русского музея и Эрмитажа великие художники мира?

Каждый раз с жестоким сожалением о потерянном времени выходишь на набережные и проспекты, но через несколько минут наступает успокоение. Гармоническая стройность Ленинграда снимает все заботы, все тревоги. Начинаешь не умом, а сердцем понимать, как прав был поэт, когда сказал, что «служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво». Начинаешь понимать, что прекрасное несовместимо с суетой. И суета уходит, оставляя сердце свободным для восприятия чистых впечатлений.

В Ленинграде пришлось на время поставить машину во дворе Союза писателей.

Возясь с машиной, я все время рассматривал этот двор, замкнутый четырехугольником старого здания, Он был тесен, живописен и угрюм.

Угрюмость ему придавали темные стены, когда-то окрашенные в красный цвет. Время зачернило их копотью. Красная краска проступала только на выпуклостях лепных украшений.

Продырявленные осколками листы кровельного железа были свалены в углу. На воротах выросла ржавчина. Она кое-где отслоилась, и под ней был виден ноздреватый чугун.

Ветер с залива волочил над двором

водянистые тучи. Из них по временам начинал сыпаться крупный снег. Он тут же таял, оставляя на плитах двора темные пятна.

Было слышно, как беспокойно плещется рядом Нева и где-то над крышами гудит мокрый флаг.

Я подумал, что если бы привести в этот двор человека с завязанными глазами и если бы этот человек был проницателен, то, не выходя со двора, он мог бы восстановить не только примерную историю города и его возраст, но и догадаться об его топографии.

Флаг говорил о близости моря, плеск воды — о том, что рядом большая река, ржавчина — о сыром климате и столетьях, прошедших над этим зданием, листы железа — о недавней блокаде, а лепка на стенах — о замечательных зодчих, не пожалевших отдать свой талант на то, чтобы воплотить свое представление о совершенстве не только в великом, но и в малом — в любой оконной ручке или резной филенке двери.

С тех пор я начал заглядывать в ленинградские дворы и убедился, что история города сохранилась в этих дворах не хуже, чем на фронтонах прославленных зданий.

Незадолго до нашего приезда в Ленинград произошел такой случай. В комиссионный магазин на Невском приплелась старушка и притащила в

мешке мраморную голову.

Старушка рассказала, что служила много лет нянькой в большой семье, но семья вся разбрелась, а последние ее представители погибли во время блокады. Остались только кое-какие вещи, и среди них вот эта мраморная голова.

Мраморную голову вытащили из мешка, взглянули на нее и тотчас вызвали в магазин сотрудников Эрмитажа.

Оказалось, что старушка принесла бюст композитора Глюка работы великого французского скульптора Гудона.

Сейчас бюст Глюка уже выставлен в Эрмитаже.

Лицо Глюка, покрытое следами оспы, бугристое, крепкое, полно ума и экспрессии. В этом лице воплощена мощь хоралов, грома органа, вся аскетическая суровость этого композитора.

Эрмитаж берет в плен крепко, на всю жизнь.

Пушкин писал о «священном сумраке» царскосельских садов. Это определение— «священный сумрак» — можно с полным правом отнести и к залам Эрмитажа.

Их торжественный полусвет заполнен великолепием красок. Кажется, не хватит жизни, чтобы проникнуться этим живописным богатством, изучить россыпи мастерства.

Блестящая галерея героев 12-го года, лоджии

Рафаэля, осенние краски Тициана, средневековые харчевни фламандцев с их гулом волюнок и треском колбасы на раскаленных жаровнях, вырванные из мрака лица на полотнах Рембрандта, мерцающий, как старое стекло, воздух Венеции у Каналетто, зловещая сила Эль-Греко, дым, изгибы развеваемых одежд, румяные итальянские зори, мрак кудрявых лесов, девичья печаль мадонн Леонардо! Нужны сотни страниц, чтобы перечислить все, что так мгновенно входит в память и потом вновь и вновь настойчиво возвращает к себе.

У каждого есть свои любимые пути по Ленинграду.

Из Эрмитажа мы пошли в Летний сад. Зеленоватый туман стекал каплями с мокрых ветвей. Бронзовый баснописец Крылов добродушно дремал, окруженный этим туманом. Вдалеке поблескивали наново позолоченные пики знаменитой ограды.

Из Летнего мы прошли в Михайловский сад. В Лебяжьей канавке виднелось дно, покрытое сгнившими ветками. Зябко покрикивая, проходили мимо машины.

Через Михайловский сад мы вышли к Русскому музею. Снова знакомые картины обступили нас тесной толпой.

Но каждый раз среди этих старых знакомцев

появлялись находки. На этот раз я как бы впервые увидел волшебный портрет Самойловой работы Карла Брюллова. И увидел нового Куинджи — обрывистый берег Азовского моря, пышущий степным пламенем, кобальтовым морским зноем.

Я давно знал, что в Ленинграде у некоторых любителей живописи есть свои «Эрмитажи на дому». На этот раз мне посчастливилось, и я попал в такой «домашний Эрмитаж» к одному чудесному человеку, режиссеру кино.

Режиссер этот превосходно снимал научные и документальные фильмы, но почти в каждый фильм ухитрялся вставлять куски пейзажа или интерьера, как бы взятые с картин известных наших художников.

В этом обстоятельстве не было ничего плохого. Но оно все же смущало некоторых работников студии. Смущало именно тем, что они никак не могли понять, хорошо это или плохо, законно или незаконно, «влетит» ли им за это, или «не влетит».

Режиссер сильно сердился на своих противников и обзывал их несколько витиевато «сомнительными местоимениями».

Все свободное время он тратил на поиски картин и на их реставрацию. Работал он в кладовке, пропахшей лаком и красками. Жил режиссер с женой в комнатухе, но рядом, в большом зале,

висели на стенах от потолка до пола превосходные картины. И среди них гордость режиссера — женский портрет кисти Рубенса и итальянский пейзаж Александра Иванова.

Весь вечер режиссер рассказывал мне удивительные истории, связанные с находкой картин.

У стены бесшумно шли старинные часы с годовым заводом работы забытого мастера из Бердичева. Огни речных фонарей за окнами дрожали от озноба в ледяной воде Мойки.

Перед отъездом из Ленинграда мы пошли бродить по городу без всякой цели.

Ненастье кончилось. Вернулись светлые дни. Проспекты и Нева были задымлены слабым туманом.

Мы вышли к новой Голландии — удивительному сооружению, где мысль архитектора соединила казарменные здания, триумфальные арки и каналы в один ансамбль.

Густые рвы на правом берегу Мойки только что начали желтеть. Навстречу им с левого берега протягивали свор огромные ветви облетавшие липы.

Желтые листья сыпались легким роем в Мойку. Стройный морской катер из красного дерева неся по этим листьям, оставляя за кормой темную водяную дорогу.

У штурвала стоял высокий молодой матрос с прищуренными глазами. Черные ленточки его бескозырки — ленточки Балтийского флота — вились по ветру и как бы играли с падающими листьями лип...

Потом начались окраины, крупный булыжник мостовой, дровяные склады, звон круглых пил, запах стружки, гнилые сваи в воде, сжатые железными обручами, заброшенные особняки с обвалившимися гербами, с кровавыми ранами от осколков на стенах и прозрачными чугунными воротами. Каналы разветвлялись под черными горбатыми мостами. Гранитные берега исчезли. Кое-где посреди набережных росли могучие деревья, тоже избитые осколками.

Наконец мы вышли на безлюдную набережную реки Пряжки. Увядшая трава покрывала откосы. На мостках сидели молчаливые рыболовы.

За Пряжкой дымил завод.

Дома вдоль Пряжки были старые, низкие, и только один дом выделялся среди них. Он был в четыре этажа — обыкновенный доходный дом со скучными балконами, выходящими в сторону взморья.

На этом доме мы увидели мраморную доску с надписью, что здесь жил и умер поэт Александр Блок.

Сначала показалось странным, что Блок выбрал для жизни место, столь несвойственное его поэзии. Это была заводская дымная окраина. Дом стоял далеко от шума и огней Невского. Он был вынесен, как передовой форт, в устье Невы и первый встречал удары бурь и наводнений.

Странность этого блоковского жилища требовала объяснения. Оно заключалось, очевидно, в желании поэта уйти в свой дом, как в крепость, приблизить его к заливу, к рано затихающей окраине, где по ночам шумит за стеной терпеливый обветренный вяз.

Можно, отложив книгу, слушать шелест его холодных листьев и скрип горячей воды в батарее отопления и думать о том, «как мы, поэты, ценим жизнь в мимолетных мелочах».

Кто знает, может быть это желание и руководило Блоком, когда он выбирал свое жилище.

Мы выехали из Ленинграда в Нарву в яркое льдистое утро. Крутая синяя волна плескалась в невский берег.

Мы ошиблись дорогой, поехали на Пулково и потом долго выбирались по проселку, заваленному валунами, на Нарвское шоссе.

Слева от дороги виднелись в тумане Дудергофские высоты. Потом осталось позади просторное Красное село и пошли низкорослые

сосновые леса и рыжие пески. Они тянулись до самого Кингисеппа, до старого Ямбурга — старинного города, не собранного, как все города, в одном центре, а разбросанного отдельными домами по обширной низменности, перерезанной рекой.

Ближе к вечеру над теснинами пенистой реки Нарвы показались громады крепости в Ивангороде, а на другом берегу — стрельчатый средневековый город Нарва.

Когда-то он был, должно быть, тесен. Но сейчас, после разрушений войны, его дома подымались среди пустырей. Цементная пыль лежала на мостовых. Город строился.

В Нарве началась Эстония.

Каждая новая страна всегда кажется очень заманчивой. Невольно происходит смещение зрительных восприятий. Обыкновенный валун кажется здесь совсем другим, чем такие же валуны вблизи дороги из Ленинграда в Нарву.

Он почернел от сырых ветров Прибалтики. Желтые лишайи на нем напоминают пышные рыцарские гербы. И невольно слышишь протяжный звон, будто верховой конь, дожидаясь всадника, нетерпеливо бьет по валуну копытом.

Сложенная из булыжника ветряная мельница, окруженная кустами боярышника, представляется местом, где разыгрывались захватывающие сцены из романов Вальтера Скотта. Но, к великому

сожалению, Вальтер Скотт никогда не писал об Эстонии.

«Победа» мчится. Первые впечатления так же быстры, как бег машины. Узкие и извилистые асфальтовые дороги. Одинокие дома-мызы из дикого камня, похожие на форты. Замшелая черепица. Старые вязы.

Угрюмый воздух. Множество хорошо одетых, строгих сероглазых женщин и девушек, едущих на велосипедах с бидонами, подвешенными к рулю. Чистые перелески, потом такие же чистые леса.

Пески. «Глинт» — обрыв над Финским заливом, ровный, как стена. Красные автобусы, напоминающие старые почтовые кареты. Внезапно мелькнувший город с рыцарским замком, собором и разноцветными дощатыми домами. Кисейные занавески и множество цветов за стеклами. Уют устоявшейся жизни. Юноши в каскетках с оранжевой ленточкой на околыше — школьники и студенты. Афиши о постановке «Тани» Арбузова на эстонском языке. И красные с голубым флаги молодой советской республики, реющие в тишине полевых мыз.

А потом на горизонте неожиданно поднимаются серые терриконы, совсем как в Донецком бассейне. Черный дым заволакивает даль. Это Кохтла-Ярве, знаменитый сланцевый район. Здесь сланцы перерабатывают в газ, и

отсюда он идет по трубам в Ленинград и Таллин.

Шоссе из огромных цементных плит шло через заболоченные леса. Цемент гулко пел под баллонами машины.

Леса срезало сразу. Вдали над равниной появился высокий Таллинский маяк.

Мы выходили к морю. Впереди был большой портовый город. Он начался сразу, без плоских предместий, свалок, без облезлых окраинных барачков — неременной принадлежности большинства городов.

Высокая площадь, а за ней — нагромождение башен, шпилей, крутых аспидных крыш, дым и мгlistая даль залива.

Залив вплотную сливается с небом. Черные корабли на рейде как будто висят в воздухе. Над ними и под ними залегли синеватые облака. Глаз не сразу может привыкнуть к этому зрелищу, и трудно еще догадаться, где настоящие облака, а где их отражения в воде.

Потом началась такая живописная и головокружительная путаница узких улиц — даже не улиц, а переулков, — что шофер растерялся и остановил машину. Как тут проедешь, когда угол древнего дома закрывает перекресток и негде развернуться, чтобы объехать его и не зацепить!

Мы не ехали, а протискивались по темным щелям этих улиц, по коротким мостам, мимо серых

башен с бойницами, мимо витрин, заваленных разноцветными товарами, задевая верхом машины ветки деревьев, с опаской пробирались по краю крутых каменных спусков или у подножья подпорных стен, заросших ползучими кустами. Из этих стен сочилась и журчала вода.

Наконец сумятица кончилась и открылась спокойная площадь, а над ней на горе — Вышгород: древний квартал, окруженный поясом садов.

Я до сих пор не знаю, какие деревья облетали в этих садах. Кажется, липы. Но листья у них были больше ладони.

Да, Таллин, конечно, принадлежит больше морю, нежели эстонской суше с ее скромными травами и размытым белесоватым небом.

Над портом ровными колоннами подымается дым из паровых труб. В морской дали, приглядевшись, можно различить очертания островов. Они похожи на расплывшиеся по воде темные пятна.

В улицах около порта пахнет каменноугольным дымом и рыбой. И всюду моряки — молодые матросы с военных кораблей и медлительные русые люди в расстегнутых куртках и тельниках — эстонские рыбаки. Глаза у них цвета балтийской воды — серые, спокойные, с легкой голубизной.

Таллин — город мореплавателей. История многих открытий и морских походов началась здесь, на этих игрушечных улицах, в городе, похожем по вечерам на освещенную изнутри большую елочную игрушку.

На второй день после приезда в Таллин мы осматривали собор Святой Девы в Вышгороде.

Он ушел от старости в землю почти на два метра. Внутри собор казался вылепленным из сумрака. Только рыцарские щиты блестели на стенах золотом, фольгой и разноцветной эмалью.

Под плитами пола были похоронены члены магистрата, рыцари, начальники ремесленных цехов и председатели гильдий.

О том, кто лежит под ногами, можно было судить по барельефам на плитах пола. Над могилами рыцарей были плоские их изображения в забралах и латах. Над могилой начальника цеха башмачников был высечен огромный ботфорт, а над могилой начальника цеха мясников — могучий бык.

Седой смотритель, эстонец, бывший учитель истории, подвел нас к двум мраморным надгробьям. По сторонам их склонялись выцветшие от тропического солнца, потрепанные бурями андреевские флаги.

Это были могилы адмиралов Беллинсгаузена и Врангеля — уроженцев Эстонии.

Беллинсгаузен открыл вместе с Лазаревым на другом конце земли ледяной материк Антарктиды.

С жестоким мужеством на русских маленьких парусных кораблях он обходил по кругу этот неведомый материк. Его «негостеприимные» воды привели в содрогание даже такого морского бесстрашного волка, как капитан Джемс Кук. Он в нерешительности остановился перед ними.

Дневник Беллинсгаузена об этом плавании — почти классическое произведение нашей литературы. Он точен, скуп на слова. И прекрасен тем, что сквозь эту скупость неожиданно прорываются слова о мрачной красоте Антарктиды и величии русского матроса.

Тут же, под сенью таких же андреевских флагов, лежит адмирал Врангель — исследователь Арктики, провидец, догадавшийся по ряду едва заметных признаков о существовании в океане около восточных берегов Сибири большого острова.

Этот остров открыли после смерти старого адмирала и назвали его именем.

— Вот видите, — сказал нам бывший учитель истории, — хорошие дела всегда увенчиваются славой. Извините, что я так несколько возвышенно говорю, но я изучал русский язык по книгам больших русских историков. Они умели находить в истории настоящие возвышенные мотивы. Здесь, в

Вышгороде, все, как говорится, дышит историей. Но вы приехали поздно, перед самой зимой. Приезжайте весной, когда Вышгород будет весь в сирени. Тогда этой милой девушке, которая приехала с вами, очень милой девушке с такими красивыми косами, я смогу позволить себе подарить букет этих цветов. Смогу вспомнить свою молодость и сделать этот галантный жест. Девичий возраст и сирень — они одинаково благоухают. Прошу извинить меня за эти стариковские шутки. Прошу извинить!

Мы простились с учителем и вышли на средневековые улицы Вышгорода.

Все поражало здесь. Не только каждый дом, но и каждый наличник на окне, железный шестигранный фонарь, каждое крыльцо и каждый лепной фриз над этим крыльцом.

Снизу доносился ровный гул города, порта, заводов, заглушённый говор людских толп.

— Пойдемте скорее вниз, — попросила наша юная спутница. — Смотрите, сколько людей! Как интересно побыть среди них!

Жизнь шла своим путем. И я вспомнил слова Короленко: «На одну и ту же старинную башню каждое поколение смотрит иными глазами».

Конечно, это был уже север.

Где-то за Пярну мы остановились отдохнуть в сосновом лесу. За грядой дюн вполголоса шумело

море. Кричали гагары. И лес вокруг был северный — мшистый, весь в спелой бруснике и старых грибах. Белый мох на сосновой коре пропитался водой, как губка, — должно быть, с моря по утрам наносило туман.

И воздух был северный — серый и холодноватый.

Песок на дюнах похолодал. Почему-то стало жаль невзрачных цветов, еще доцветавших около пней, — там, должно быть, было теплее, чем на открытых местах.

Быть может, некстати говорить здесь об этом, но в лесу среди дюн пришло сожаление об едва еще дышавшем северном лете — прообразе собственной жизни.

Кто знает, сколько осталось этой жизни? Для мысли, для сердца, для работы нужны сотни лет. Но законы природы суровы. Она не дает нам отсрочки.

И тут же вспомнились слова старого писателя. «Все людские возрасты по-своему хороши, — сказал он, — но, может быть, лучше всех старость».

Прожитая жизнь принесла щедрость, понимание. Окончилась мнимая погоня за недостижимым. Оно оказалось незаметно достигнутым в каждом простом явлении: в замухрышке-цветке, в крике гагар, в смеющихся глазах женщины, в тишине бесконечных сосновых лесов.

Есть старое, давно уже «изъятное» слово — благословение. Его легче почувствовать, чем объяснить.

Благословение — это благодарность и напутствие всему хорошему, что будет жить, когда тебя уже не станет. Это, наконец, преклонение перед красотой земли, когда, уходя, любишь все: «и одинокую тропинку, по коей, нищий, я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду».

Машина тронулась. Дорога вышла к морю.

В прозрачной воде лежали огромные валуны. Вода была тонкая, как стекло. На шестах сушились сети. Даль поблекла, — на нее медленно надвигался вечер... Хвойной стеной стоял замолкший лес.

В маленьком рыбацьем поселке зажигались огни. На крыше дощатого дома сидела овчарка и ревниво вглядывалась в залив-ждала хозяина.

Вспыхнул, рассыпался звоном и тотчас умчался назад, за машину, женский смех.

Вот бы остаться здесь! Но машина уже пронеслась через поселок и врезалась в туман. Он шел с залива. Редкие огни сторожевых домов тлели в тумане, как угли.

Под Ригой в полночь туман сошел, и сотни огней, перебегая, начали путать перед нами карту незнакомого города.

Мы въехали в широкую улицу и остановились под тенью деревьев. В ушах еще долго гудел

дорожный ветер.

В Риге гостиницы были переполнены. Пришлось остановиться на взморье, в закрытом на зиму доме отдыха в Дубултах. Нам отвели один из флигелей в глубине парка, прибрали его и протопили.

Мои спутницы целые дни проводили в Риге, я же с наслаждением оставался в безлюдных Дубултах, в гулком и светлом доме.

Есть своя прелесть в опустевших дачных поселках. Недаром покинутые дачи были даже предметом литературы. Вспомните хотя бы осенние фонтаны под Одессой в «Гранатовом браслете» Куприна.

Три обстоятельства ощущались сейчас в Дубултах, почти как счастье: покой, сосредоточенность и возможность в любую минуту выйти в парк, где все шуршит и вместе с тем все дремлет в легчайшей воздушной мгле.

Мгла эта наплывает с Рижского залива. До него — несколько шагов. Он пустынен, тих. На песчаном дне видна рябь, похожая на рыбу чешую.

Низкие берега исчезают в тумане. Ветра нет, но все же изредка откуда-то потянет солоноватым запахом открытого моря.

Пески перемыты прибоем. На них ничего не осталось от многолюдного и шумного лета.